

Н. И. КУЗНЕЦОВА

ИИЕТ КАК ОБЪЕКТ «ПОЛЕВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ» И САМ ПО СЕБЕ

Отчет Алессандро Монджили о «полевом исследовании» ИИЕТ, проведенный в духе «этнометодологии» науки, мне, признаюсь, в первый момент хотелось назвать «Путешествием Гулливера в страну гуинггимов»... Бесспорно, многие внешние черты нашей научной жизни конца 80-х гг. схвачены метко, остро, — иногда даже испытываешь прилив благодарности к автору за то, что ему удалось запечатлеть те детали нашего научного быта, которые сотрудникам Института представлялись вполне тривиальными и обычными: никому и в голову не приходило уделить этим деталям должное внимание и поразмышлять над тем, что они, собственно говоря, значат. Но именно этой обычности и привычности не существовало для иностранца, который отличался от нас всей суммой усвоенного житейского, социального и духовного опыта. Самим тоном своего рассказа (и, конечно, в полном соответствии с требованиями своей методологии) этот «сторонний наблюдатель» показывает, что наши привычки, ритуалы, нормы — вовсе не универсальны и не абсолютны, они могли быть иными в другой среде, а следовательно, они весьма привлекательны как объекты описания и анализа. Нужно ли нам — героям и персонажам этого рассказа — спорить со столь очевидным тезисом? Действительно, в этих привычках, ритуалах и нормах зафиксирована определенная практика, традиции, т.е. именно базовый социо-культурный опыт, порождавший в конечном итоге нашу духовную продукцию, ее характерные черты, ее неясную (неотрефлектированную нами) методологию. Фиксацией различных аспектов нашего научного быта, а на этом фоне — размышлением о судьбе определенной исследовательской программы («науковедения») — прежде всего интересна и значима работа А. Монджили.

Правда, как у всякого непосредственного участника событий, у меня есть своя — встречающая — интерпретация происшедшего в те годы. Мне, как, думается, многим читателям этой работы, часто хотелось воскликнуть: «Все было не так! Автор просто не разобрался в тех фактах, которые он собрал; автор просто не понял событий, которые он наблюдал!...» Одновременно я — очевидец и участник описываемых событий — сознаю, конечно, что не дано мне большего права на истину, чем исследователю, который специально анализировал мою работу и работу моих коллег. Если оценки «стороннего наблюдателя» и данные им интерпретации кажутся «участникам событий» весьма спорными, то из этого вовсе не следует, что последние правы. Кто же из историков не знает поговорки, повторяемой вслед за юристами: «Врет, как очевидец!» Быть участником событий — не значит видеть общую картину, не значит иметь более точное описание происшедшего и тем более не означает, что «включенность» в события позволяет более правильно их проанализировать.

Признавая, таким образом, относительность своей позиции и ни в коем случае не претендуя на полноту картины, я все же рискну поделиться «встречным потоком» своих воспоминаний, наблюдений и размышлений, касающихся тех проблем историко-научных и науковедческих исследований, о которых пишет А. Монджили. Это прежде всего размышления о парадигмах — явных и неявных, которые определили сложившийся к концу 80-х гг. фронт наших историко-научных исследований и породили осознание необходимости новых подходов; это — наблюдения над тем, как работало наше научное сообщество (на фоне других и в контрасте с ними); это — воспоминания о том, какие идеи направляли поиск ответа на всегда открытый вопрос (обращенный, кстати, всегда к себе!), как должно работать сообщество историков науки, чтобы быть эффективным и порождать результаты исключительно высокого научного качества?

Истоки романтических порывов

Наш «сторонний наблюдатель» прежде всего сетует на то, что наблюдать научную активность в рамках самого Института достаточно сложно: «исследования ведутся по традиционной модели гуманитарных наук... Перед наблюдателем институт предстает скорее как место многочисленных коммуникаций, использования языковых или других знаковых систем, чем как место научного производства». Действительно, ИИЕТ не проводит экспериментов или мощных машинных расчетов, а значит, и не оставляет зримых следов своего «научного производства». «Лабораторную жизнь» историка науки наблюдать и описывать, вероятно, труднее, чем работу биохимической лаборатории, на которой отработывала свои методики этно-методология и социология знания (примером таких описаний могут служить «Лабораторная жизнь» Латура и Вулгара или «Открывая ящик Пандоры» Гилберта и Малкея). История науки, бесспорно, — гуманитарная дисциплина. Но уже эту простую и, казалось бы, очевидную оценку ситуации мне хочется несколько скорректировать.

«Романтический образ научной работы», как подчеркивает А. Монджили, характерен для

многих сотрудников ИИЕТ. Между тем в становлении этого романтического образа были некие подспудные течения, которые наш наблюдатель, конечно, проследить не мог, а они исторически очень важны. Хочу обратить внимание на два обстоятельства.

Первое. Большинство наших историков науки, как подчеркивает и сам автор, получили образование в области естественных наук. Факт бесспорный и важный. «В советских университетах не существует специализации по истории, философии или социологии науки... Отсутствие основательной гуманитарной подготовки приводит к недостатку профессионализма...», — комментирует А. Монджили. Да, бесспорно, пришедшему из естественных наук молодому человеку отнюдь не легко дается переход в иную — гуманитарную — область. Он должен стать историком (а его знания по этой части крайне разрозненны и поверхностны); он должен разбираться в философии науки (хорошо, правда, что к концу 80-х гг. у нас была сильная и активно действующая группа исследователей в этой области); он должен где-то получить подготовку в сфере социологии и экономики науки, психологии научного творчества... Всю нужную сумму знаний приходится усваивать на ходу, «с колес», проглядывая какие-то книги, но в основном — из общения. Добавим, что сама подготовка диссертации — как это было принято у нас тогда и остается в качестве общей нормы до сегодняшнего дня — требует владения научными знаниями и идеями на уровне современной научной картины мира. Ведь историк биологии получит степень кандидата естественных наук, историк физики — физико-математических и т. п. По существующим стандартам ВАКА история естественных наук — неотъемлемая часть естествознания. Историк естествознания вовсе не должен порывать со своей исходной специальностью, иначе он, быть может, станет историком, социологом, философом, но никак не историком науки...

Вся это необычайно сложная для становления профессионального историка науки ситуация придавала нам какой-то романтический ореол в собственных глазах. Сознание трудности и редкости своей профессии давало ощущение некой элитарности, и, если угодно, избранности. Быть настоящим историком науки — это в какой-то степени дерзость, это принятие высокого уровня притязаний, если хотите — амбиций. Помимо перечисленного выше, надо еще просто знать иностранные языки, и не только современные европейские, но — латынь, греческий, арабский, санскрит... Это тоже элемент профессии. Живые примеры того, что это все-таки возможно, были: Василий Павлович Зубов, Иван Дмитриевич Рожанский, Адольф Павлович Юшкевич... Да и не только они! Один из молодых исследователей, посвятивших себя изучению истории древнекитайской математики, говорил: «Наша специальность — какое-то недоразумение. Это слишком сложно. Ее просто не может быть. Это похоже на признание существования дракона с крыльями — ужасно неудачное с точки зрения земных условий существования существо: огромное тело пресмыкающегося, возжаждавшего летать. Невозможное дело по законам эволюции. Но — летает! Вымрет, конечно, при первой возможности...» Мы пошучивали над этим «Я-образом» нашей специальности, над собственным выбором — и одновременно искренне гордились им.

Если бы подготовка историков науки была массовой и, следовательно, стандартизированной, боюсь, «романтического порыва», было бы гораздо меньше. Строго говоря, в нашей области трудно мечтать о высоких чинах и званиях, нет здесь размаха для серьезного честолюбия, и это с самого начала отсеивает тех, кто ищет в научных занятиях только подъема по «социальной лестнице». Этого не учитывает и не обсуждает А. Монджили, не отличаясь в данном случае изощренностью психологического анализа. Однако и его поражает доминирование в достаточно нелегкой тогда идеологической ситуации высоких стандартов интеллигентности, явное влияние «настоящих ученых» на молодежь, часто встречающееся подчеркивание интереса к «чистой науке», а не к научной карьере.

Хотелось бы обратить внимание и на второе обстоятельство, многое проясняющее в традициях институтской жизни, — атмосферу наших бесконечных дискуссий в секторах, на семинарах, научных школах. «Научная жизнь в ИИЕТ предстает перед наблюдателем как бесконечные методологические дебаты, начиная с точного употребления терминов, — пишет А. Монджили. — Интерес сосредоточен в основном на определении позиций, а не на «фактах»; наиболее острой считается не проблема интерпретации феноменов в свете определенной теории, а проблема стройности и элегантности самой теории». (Как участнику событий мне хочется воскликнуть: «Ах, если бы было так! Вот высокая и лестная — боюсь, незаслуженно — оценка! Не так уж много было „теорий“, не так уж стройны они получались...»)

«Методологическую одержимость», отмеченную нашим наблюдателем, он связывает с тем влиянием на интеллектуальную среду московской интеллигенции, которое оказывал через свои семинары Георгий Петрович Щедровицкий (1929—1994). Сотрудники ИИЕТ, конечно, знают, что никаких специальных семинаров в Институте Щедровицкий не вел. Речь могла идти о двух-трех докладах, которые его приглашали сделать в разное время по тем или иным научным проблемам. Когда-то в конце 60-х гг. заведующий сектором общих проблем



Выступает Владимир Соломонович Библер. Школа молодых философов в г. Пушкино (Московская обл.), 1981 г. Один из «учителей» (второй слева) — известный историк-медиевист Леонид Михайлович Баткин. Фото предоставлено С. Б. Шапошником.

Н. И. Родной, действительно, мечтал принять на работу в сектор этого выдающегося человека, но из этого замысла ничего не вышло. Однако так называемые «щедровитяне» в Институте были, и среди них — такие, как Никита Глебович Алексеев и его аспирант в те годы И. Н. Семенов (сектор психологии научного творчества), Игорь Серафимович Алексеев (1935—1988), занимавшийся историей и методологией физики, друзья и до поры до времени единомышленники Щедровицкого Э. Г. Юдин (1930—1976), В. Н. Садовский, И. В. Блауберг (1929—1990) (сектор системного анализа науки). К числу постоянных участников Московского Методологического Кружка (ММК) относилась и я. Сектор наиболее философский — сектор общих проблем — был, скорее, в интеллектуальной оппозиции к щедровитянскому подходу, тогдашние его сотрудники были по преимуществу «библириантами», т.е. участниками домашних семинаров Владимира Соломоновича Библера — другого выдающегося интеллектуального лидера, который достаточно долго проработал в ИИЕТ. Каким образом в 1989 г. А. Монджили узрел «тьму» Георгия Петровича в нашем Институте — довольно загадочно, так как к тому моменту никаких в серьезном смысле слова «щедровитян» в ИИЕТ уже не сохранилось. Даже я — когда-то преданнейший адепт ММК — уже работала в рамках других идей. Однако в атмосфере страстных обсуждений общих вопросов, действительно, сказывалось влияние темперамента наших неформальных лидеров. Участники дискуссий привыкли к этой атмосфере и поддерживали ее, считая необходимым элементом работы.

И здесь я должна вспомнить одну легенду, которая была очень значимой для тех гуманитариев, кто в 60-е гг. пришел работать в кружок Г. П. Щедровицкого (Московский Методологический Кружок). Георгий Петрович был по исходному образованию физиком; он учился на физфаке МГУ в первый послевоенный период, в атмосфере всеобщего общественного признания «физиков» (в противовес «лирикам»). Будучи студентом уже 4 курса, явно подающим надежды на поступление в аспирантуру, он тем не менее увлекся Марксом и стал основное время посвящать размышлениям о гносеологии. Надо сказать, что молодежь той поры привлекали не столько грандиозные социальные проекты марксизма, сколько знаменитый так называемый «Четвертый Тезис о Фейербахе», который, как тогда мыслилось, формулирует новую программу гносеологических исследований. Рассказывают, что это неожиданное увлечение тяжело переживал отец Георгия Петровича, который буквально умолял его если не остаться физиком, то хотя бы закончить образование на физфаке. Однако Г. П. был тверд в своем решении и добился перевода на философский факультет. Попав туда, он ужаснулся тем предметам, которые пришлось изучать, и всей атмосфере, в которой приходилось постигать мудрейшую из наук. Однако воспоминание о физике не оставляло его, и он решил, что «оздоровление» отечественной философии требует перенесения нормативов работы из естественных наук в гуманитарную сферу. «Работать в гносеологии так, как работают физики!» — что это конкретно могло значить? Прежде всего — соблюдение строгих правил мыш-

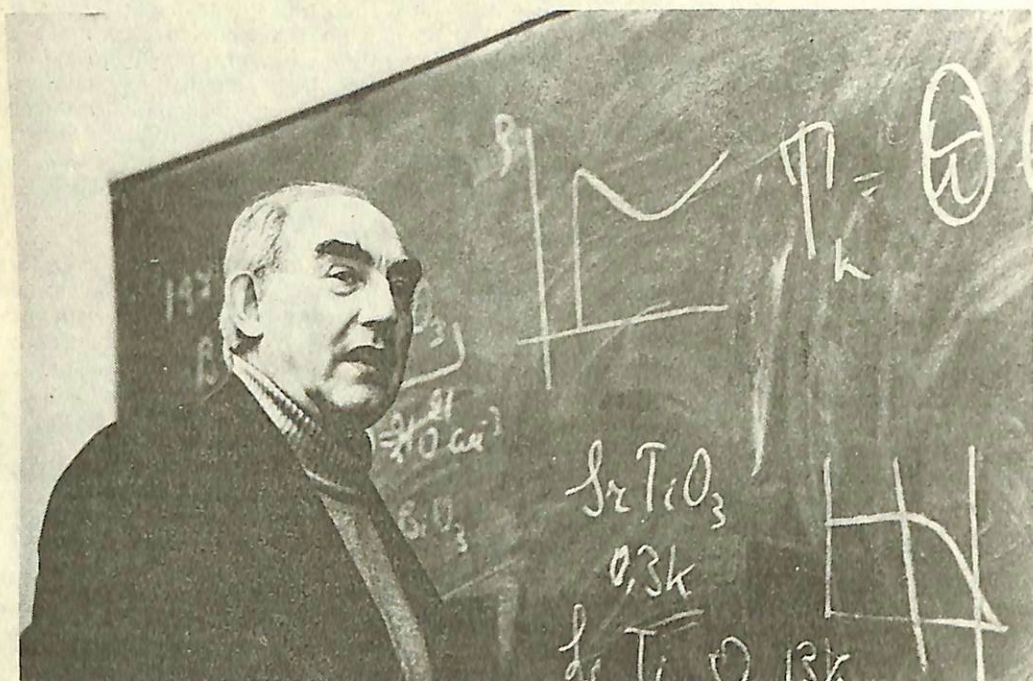


Выступает Георгий Петрович Щедровицкий. Школа-семинар по теории классификации, г. Борок, 1979 г. Фото из семейного архива Н. И. Кузнецовой

ления, внимание к фактам, работа под тяжелым «давлением» эмпирического материала. Человек, желавший строить «теорию мышления» (теорию познания), должен был искать эмпирию, факты и анализировать их.

Такая установка требовала, чтобы гносеологические концепции опирались, в частности, на факты истории науки и, более того, придавала историко-научному материалу функции «пробного камня» для всех умозрительных или спекулятивных концепций (позднее эту мысль четко выразил Имре Лакатос, что привело в восторг всех работавших в ММК и не по своей воле бывших в изоляции от внешнего мира). Для того домашнего семинара, который в конце 60-х гг. интенсивно работал в квартире Щедровицкого, ориентация на общенаучные нормативы мышления, на «физиков», была четко предъявляемым требованием, методологической нормой. Жесткость критики, которой подвергали докладчика, была необходима для того, чтобы «гуманитарии» научились работать, отделяя шелуху слов и полет индивидуальной фантазии от содержания, которое может быть четко сформулировано, предъявлено для «интерсубъективной» критики, проверено фактами, в частности «контрпримерами», на изобретение которых была нацелена критикующая аудитория. Никто не роптал (вернее, тех, кто «роптал», безжалостно отсеивали): так — интеллектуально жестко — работают «физики», и поэтому им не стыдно перед человечеством за свои результаты. Такова была общая установка этого семинара.

Мы были, как выяснилось позднее, явными попперианцами, не знавшими тогда, в силу господствовавшего режима «железного занавеса», ничего о реальном существовании Карла Поппера. А когда вышел перевод книги И. Лакатоса «Доказательства и опровержения» (М., 1967), то не было у этой книги более благодарной читательской аудитории, чем та, «щедровитянская». Блистательный анализ истории доказательства одной стереометрической теоремы Эйлера поражал красотой метода — метода «рациональной реконструкции». В предисловии к изданию, правда, было сказано, что читатель должен воздержаться от позитивизма и конвенционализма, к которым его подталкивают автор и его учитель — Поппер, но сумеет найти в этом произведении «немало ярких доказательств тому, что математика в познании действительности идет по тому же диалектическому пути, что и другие науки» (с. 4). Однако кто же читает подобные предисловия? Мы не замечали его, как не замечали сотрудники ИИЕТ идеологических лозунгов Ленина, развешанных по институтским стенам. Мы читали



*Выступает Виталий Лазаревич Гинзбург.
Фото предоставлено И. В. Дорман*

эту книгу необычайно серьезно, с карандашом в руках, пытались схематизировать метод, усвоили терминологию, от которой потом не отказывались, подражали — в своих публикациях, но главное — в нормативах ведения научных дискуссий.

И поэтому, справедливости ради, надо указать, что атмосфера дискуссий, характерная именно для физической аудитории, была тем подлинным «архетипом», который потом «разносили» щедровитяне в те области, куда пошли работать профессионально — в психологию, социологию, проектирование, философию и историю науки... Когда много лет спустя я попала на заседание семинара теоретдела ФИАН, где председателем семинара был Виталий Лазаревич Гинзбург, то увидела до боли знакомую атмосферу жесткой критики доклада, к которой привыкла с юности в кружке Щедровицкого. Это было удивительно! Докладчик не успевал закончить какую-то математическую выкладку на доске, как с первых рядов доносилось: «Вы уже ошиблись!»; «Тогда Вы не сможете учесть, что...» Аудитория работала, как настоящая интеллектуальная машина. Отвлечься от рассуждений, которые нам предъявляли, было невозможно, как от захватывающего триллера: гипотезы возникали и безжалостно уничтожались, контрпримеры — как глобальные, так и локальные — уязвляли стройное доказательство и сводили его на нет, от докладчика требовалось подлинное мужество, чтобы «увернуться» от непрерывно идущей интеллектуальной атаки зала, найти аргументы, защитить свою точку зрения... Зачем все это нужно? — спросит «непосвященный». Чтобы мыслить, чтобы строить подлинное знание — гласил ответ «посвященных». В нормативах работы физиков лежали истоки романтических порывов, возникали планы и оформлялись дерзкие притязания гуманитариев новой генерации.

Два вектора «методологической одержимости»

В каждой научной дисциплине достаточно много рутинной работы: например, сбор и первичная обработка данных — будь то результаты серии стандартных экспериментов, сбор образцов почвенных срезов или остатков ископаемых растений, замеры разливов реки и глубины затопления во время половодья или антропологические измерения во время этнографических экспедиций. Все это должен уметь делать в соответствии со строгими методическими стандартами самый рядовой специалист. А какое огромное значение имеет унификация научной терминологии — скажем, в геологии, астрономии или биологических науках! Невозможно считать, что некто провел научное описание региона биологического вида или нового

астрономического объекта, если не соблюдены стандарты и правила. А в истории науки новичка просто поражало отсутствие всяких стандартов, даже на самых начальных и рутинных стадиях работы. Никто не знал правил издания историко-научных источников (правил археологии), никто не мог сформулировать правил интерпретации и анализа прочитанной литературы, никто не мог в точности указать, какая работа может быть квалифицирована как первоклассное исследование, а какая — как профессиональный брак... Конечно, аспирант мог иметь в качестве образца работы своего научного руководителя, — но и не более того.

Группу философов, которых вполне формально просили заниматься так называемыми «методологическими и общими вопросами историко-научных исследований», все это серьезно волновало. Опыт работы был уже большой, а осмысления — мало.

Именно эти, вполне творческие, а не идеологические, соображения стимулировали инициативу проведения серии семинаров по методологии, первый из которых состоялся в декабре 1973 г. в Обнинске, а потом раз в два года проходил в Звенигороде, в пансионате Академии наук. Хотя у истоков организации этих семинаров стояла дирекция ИИЕТ (точнее, вполне конкретный человек — С. Р. Микулинский, который и сам делал научные доклады и честно спорил с коллегами), никаких далеко идущих административных целей не преследовалось, и тем более — не выдвигалось планов «промыывания мозгов» интеллигенции «единственно верной» методологией марксизма-ленинизма. Спектр тем для обсуждения был чрезвычайно широк, и участвовали в дискуссиях самые классные «по гамбургскому счету» профессионалы — как историки науки, так и философы. Симпозиумы были немногочисленными по количеству участников — до 50 человек, регламент заседаний очень строгий: доклад — 40 минут, тут же вопросы, потом сразу же обсуждение, где выступающий получал для реплики не более 5 минут. Каждый день обсуждалось три доклада, симпозиум обычно продолжался три дня. Заседали обязательно в зале с доской — что-то рисовали, пытались препарировать высказываемое содержание (безусловно, тень «физиков»!). Никому и в голову не приходило прогуляться во время заседания по лесу или в соседний монастырь: было слишком интересно. Все свободное время — общение и общение. Атмосфера была удивительно теплой и дружелюбной, но свободомыслие и терпимость — сочетались с «прессингом» профессиональной критики. Все, кто бывал там, хорошо это помнят. Царил полный сердечный союз философии науки и истории науки. Много шутили, смеялись, прямо после заседаний выпускали стенгазету «На вербалке», наполненную афоризмами и стихотворными пародиями на темы прослушанных докладов, сочиненными по преимуществу В. Л. Рабиновичем, Вик. П. Визгиным,



Итоговое заседание школы молодых философов в Пушкино (1981 г.). Среди «учителей» — И. С. Алексеев, В. М. Межуев, А. П. Огурцов... «Заключительным аккордом» подобных заседаний обычно было совместное исполнение «Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке!»
Фото предоставлено С. Б. Шапошником

А. В. Ахутиным. В 70-е гг. эти звенигородские симпозиумы считались самыми престижными и высокоинтеллектуальными, т.е. имели очень высокий неформальный статус. Первый обнинский симпозиум — неожиданный, яркий, как праздник, — придумал и провел Борис Семенович Грязнов (1929—1978). Трудно перечислить все, что обсуждалось в этой «методологической мастерской», но надо подчеркнуть, что «особую эпистемологическую традицию», о которой пишет (не очень, правда, ясно) А. Монджили, во многом создали эти симпозиумы — и как раз те лица, которых он перечисляет как высокочисленные фигуры и в конце 80-х гг., а именно — Б. С. Грязнов, В. Л. Рабинович, П. П. Гайденко, В. С. Степин, М. А. Розов, М. К. Мамардашвили...

При анализе содержания концепций и идей науковедения (равно как и нашей философии науки) «эпистемологический» подход, на мой взгляд, дает явные осечки. Анализа нашей своеобразной эпистемологической традиции просто нет («полное отсутствие средств анализа!» — было бы строго сказано на наших семинарах). Краткие аннотации, которые дает наш «сторонний наблюдатель», типа: «Б. С. Грязнов воспринял у Поппера и Лакатоса фундаментальную идею «рациональной реконструкции» науки, противостоящую «социологическому» подходу в духе Куна и Фейерабенда»; «историк П. П. Гайденко предложила пространный и интересный анализ «эволюции понятия науки», уводящий от близкого логикам определения науки»; «введенное В. С. Степиным понятие «научная картина мира» представляло собой плодотворное объединение идей исследовательской программы, теории систем и традиционной культурологии...» — напоминают мне написанные с большими претензиями рецензии об исполнении фортепианного концерта, которые сообщают, что пианист, дирижер и оркестр активно использовали семь нот.

Другой вектор «методологической одержимости» был связан с тем, что ИИЕТ в силу специфики своих задач сложился как очень сложный междисциплинарный организм. Вот уж где можно было наблюдать теснейшее взаимодействие разных научных сообществ, с одной стороны, и всю гамму недоразумений и взаимонепонимания — с другой. В рамках сравнительно небольшого коллектива должны были ужиться «физики» и «лирики» — философы и социологи, психологи и экономисты. Даже в кругу нефилософствующих историков науки имелись определенные коммуникативные трудности между физиками и, скажем, географами, представителями фундаментальных наук и «технарями»... Наладить коммуникации в междисциплинарном коллективе, как правило, достается в качестве задачи методологам. Норберт Винер в своей интеллектуальной автобиографии «Я — математик», отмечает как особую заслугу кибернетики возможность установления общего языка для «разноязычных» в научном отношении профессионалов. Наши методологические семинары в Звенигороде создавали общий тезаурус, нужный не только философам, но и вполне конкретным историкам науки и техники, помогая создавать ощущение единства специальности и преодолевая исходную ограниченность сугубо дисциплинарной специализации. Разве можно считать подобные усилия красивой, но бесполезной «игрой в бисер»? Так что это направление «методологической одержимости» подпитывали сугубо земные, практические профессиональные задачи, что и следовало бы, на мой взгляд, отметить.

Факты, факты, конечно, надо анализировать факты! Но каждый факт можно зафиксировать только в контексте определенных теоретических предпосылок и более общих концептуальных презумпций исторической эпохи. Об этом говорили и говорили Б. С. Грязнов, П. П. Гайденко, В. С. Степин, М. А. Розов, М. К. Мамардашвили... Была нам знакома идея «пантеоретизма», которую страстно обсуждали на Западе, в частности по поводу трудов Т. Куна и П. Фейерабенда. И странно мне слышать, что сегодня западный исследователь, выросший, казалось бы, в атмосфере идейной и духовной свободы, считает, что эта проблема исчерпана или решена в пользу ведущей роли «фактов»...

От «science of science» к «science studies»

Откуда вообще взялось представление А. Монджили о том, что науковедение — это какое-то особое «советское» предприятие, маргинальное научное направление, характерное для существовавшего тогда режима и идеологии, мне, строго говоря, непонятно. Это, мягко выражаясь, не соответствует реалиям. Скорее, справедливо говорить, что идея такого проекта «носилась в воздухе». В 1966 г. вышел сборник статей «Наука о науке» — перевод книги «*The science of science*», опубликованной в Лондоне в 1964 г. Мне-то кажется, что в самих поисках и попытках строить науковедение мы, как никогда, шли в ногу со временем и западным научным сообществом. В этом тоже ощущалось какое-то дыхание хрущевской «оттепели». По сути дела, идеи были общими, и речь шла только о появлении особого русскоязычного термина. В 1966 г. состоялся первый в СССР представительный симпозиум по науковедению (советско-польский симпозиум во Львове, о нем упоминает А. Монджили), который, по сути

дела, конституировал этот термин, дал ему широкое и признанное хождение. Но это было имя, давшее форму уже идущей работе, а не «предписывающее» ее.

Обещания наших науковедов во главе с С. Р. Микулинским разрабатывать «научно обоснованные» рекомендации для ЦК КПСС по управлению советской наукой и планированию научно-технического прогресса были, конечно, некоторой социальной мимикрией, которая, кстати говоря, была характерна вовсе не только для нашей социалистической страны. Но эти ожидаемые практические рекомендации подразумевали вполне обстоятельные «чистые» исследования, в том числе — развитие философии науки, социологии науки, экономики науки, менеджмента в области науки и т.п. Предмет, который собирались изучать науковеды, вовсе не был социальной фикцией, порожденной фантазиями властей на Старой площади. Никто не пытался идейно или методологически противопоставить западную «науку о науке» русскому «науковедению», по крайней мере в самом сообществе «науковедов». Поэтому я с удивлением читаю такие «откровения»: «Выбор русской кальки не был случайным: он отражал амбиции создателей науковедения, стремившихся отгородить свой подход от западного. В действительности (так! на наших семинарах вещать от лица *действительности* было строго-настрого запрещено. — Н. К.) науковедение переняло западные, а именно американские традиции в изучении науки, заимствуя многое у таких авторов, как Дерек де Солла Прайс, Дж. Бернал, Дж. Пельц и Ф. Эндрюс». Так и хочется спросить: а французские или немецкие науковеды ничего не почерпнули из этой американской копилки?.. Замечу также в скобках, что, упрекая наших философов-науковедов в том, что они проповедовали «аполлогетический» образ науки как сугубо автономного социального института, А. Монджили одновременно приписывает западной науке возможность иметь какую-то независимую аудиторию и необходимую автономию исследователя...(!?) Значит, думать, что наука автономна, — это утопия, а искать эту автономию и независимость в реальной западной науке — это здравый смысл? Странно как-то получается.

60—70-е гг. в СССР были для ученых нашей специальности более или менее благополучными в плане интеллектуальных поисков. Тяжело было в те годы думать об общих вопросах — истории и ближайшей судьбе нашей страны, гадать, сколько лет продлится еще мнимое благополучие социалистического строя. Но — «в мыслях своих я свободен...» Цензура в нашей области была, но во многом она была внешней и не проникала в залы наших обсуждений, не шла далее дежурных цитат в публикациях. Та дисциплина, которую называли «науковедением», конечно, пыталась отличаться в ряду прочего социалистическую науку от буржуазной (см., например, следы эти безнадежных попыток в монографии «Основы науковедения», М., 1985), но, конечно, не в этом была ее исходная идейная матрица. В принципе это был вполне нормальный научный проект, исходящий из осознания, что сформировался довольно обширный массив информации о социальном институте, представляющем большую ценность в рамках современной цивилизации. Этот массив знаний требовал систематизации, с одной стороны, и, с другой стороны, — разработки методик, в соответствии с которыми эти знания можно было бы получать в нужном объеме. Думаю, что это довольно стандартная ситуация возникновения новых научных дисциплин, вовсе не специфическая и не особенная. Да, принципы систематизации были не совсем ясны, а методики (библиометрические, социологические опросов и т.п.) в нужной мере не сформировались или не были освоены. Но это уж, как говорится, дело наживное.

Мне представляется, что хоронить «науковедение» как негодный интеллектуальный проект было бы преждевременно и несерьезно. Да и какие есть на то основания? То, что проекты, замыслы и манифесты превращаются в процессе своих реализаций в нечто иное, чем первоначально предполагалось, — вполне естественно. Реальное русло многочисленных исследований науки, вероятно, не полностью соответствует исходным проектам, но нельзя отрицать и стимулирующую роль этих проектов. То, что трудно направлять это русло в рамках единого подхода, — тоже факт. Но ведь нельзя усомниться в реальности такой дисциплины, как «океанология», на том основании, что ее разделы так неоднородны по содержанию (гидрофизические, гидрохимические, гидробиологические, региональные и т.п. характеристики океана). Здравый смысл подсказал исследователям корректировку: единая, как мыслилось в исходе, «*science of science*» как бы трансформировалась сегодня в область «*science studies*». Мне лично кажется, что это — не последнее слово. Просто нет единой модели науки, которая могла бы «впитать» разнообразные, уже собранные знания. Здесь уж «теоретики» не доработали. Но это не значит, что эта модель не будет никогда построена.

Нет, история науковедения как история его идей пока не написана. Работа А. Монджили, пожалуй, и не ставила такую задачу. Ее «факты» — скорее, факты исторических судеб людей конкретного периода, но не факты когнитивной истории. Это очевидно. А судьбы научных программ, дисциплин, направлений — нечто не совпадающее с судьбами людей, их социальными траекториями.